

ВЛАДИМИР КРИВОЛАПОВ (VLADIMIR KRIVOLAPOV)
Курский государственный университет
(Kursk State University)

«ВЗЫСКУЮЩАЯ» ГЕРОИНЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА (ОТ ГОНЧАРОВА ДО ЧЕХОВА)

Seeking heroine in the Russian literature of the XIX century (from Goncharov to Chekhov)

The article analyzes the typological proximity of Russian literary heroines from Olga Ilyinskaya by Goncharov to Nadia Shumina by Chekhov. The Olga's image opens a gallery of "dreamers" and "visionaries". Seekers of the highest truth, they will exist in literature as long as Russian classical literature itself exists. Nadya Shumina, the last in the "idealist" gallery, will not be much different from their predecessors, who appeared forty years earlier.

Keywords: dreamers, visionaries, idealistic yearning, seduction, the specter of the future, the typological proximity

В свое время Н.А. Добролюбов увидел в гончаровской Ольге Ильинской (*Обломов*) «намеки на новую русскую жизнь», а проявление «намека» усмотрел в том, что «она стремится к своему *чему-то*, хотя еще не знает его хорошенько» (Добролюбов 1991, 67) (*курсив* автора – В.К.). Особенно восхищало критика то, что Ольга «не останавливается, не замирает» – даже после того, как соединяется со Штольцем и обретает с ним счастье. Его вовсе не пугала им же самим заявленная перспектива ухода Ольги от Штольца, скорее наоборот – радостно будоражила. Устремленность в будущее, динамизм героини искупали и оправдывали всё! Вместе с тем, нельзя не признать, что Добролюбов, прогнозируя подобную развязку, оказался пророческим, если не в отношении Ольги, то в отношении многих её современниц – литературных и вполне реальных.

Через несколько лет после того, как Гончаров закончит *Обломова*, он окажется свидетелем драмы, разыгравшейся в доме Майковых: из семьи, оставив детей, уйдет Екатерина Майкова, жена его ученика и воспитанника, добровольная и старательная его помощница

в литературных трудах, от которой он и сам, если верить воспоминаниям современников, был «без ума» (Штакеншнайдер 1934, 196).

Екатерина Павловна разрушит весьма «содержательную» семейную жизнь, где находилось место самой разнообразной интеллектуальной деятельности – самостоятельной и совместной с мужем. Трое детей лишатся матери, а вслед за ними и еще один ребенок, рожденный Екатериной Павловной в «гражданском браке» с нигилистом Федором Любимовым. По прошествии лет стало ясно, что надежды на обретение счастья и смысла жизни в коммуне с новым супругом не оправдались, она рассталась со спивающимся Любимовым... Последние годы доживала в Сочи с младшим, некогда брошенным ею сыном. Е. Штакеншнайдер вспоминала: Гончаров, когда его упрекали в том, что «главное женское лицо» *Обломова* «слишком идеально», указывал на Майкову как «оригинал», с которого была списана его героиня. В этом случае трудно избавиться от впечатления, что «крымский» эпилог в истории любви Ольги и Штольца одновременно является и прологом разыгравшейся в семействе Майковых драмы, предугаданной Гончаровым и фактически предсказанной Добролюбовым.

С гончаровской Ольги Ильинской, которая, как полагал Добролюбов, «представляет высший идеал, какой только может теперь русский художник вызвать из теперешней русской жизни» (Добролюбов 1991, 139), с появившихся тогда же тургеневских Лизы Калитиной и Елены Стаховой начинается галерея русских литературных героинь – «фантазерок» и «мечтательниц», провозвестниц «новой русской жизни» (Добролюбов 1991, 139). Взыскующие высшей правды, жаждущие осмысленного бытия, они просуществуют в литературе ровно до тех пор, пока будет существовать сама русская классическая литература...

Рассказ *Невеста* был последним у А.П. Чехова, и уже в силу этого его можно воспринимать как последнюю страницу в истории отечественной литературной классики, а образ Нади Шуминой – в качестве последнего портрета в галерее «идеалисток», в облике которых мало что изменилось со времен Гончарова. Всё то же идеалистическое томление («чего-то уже не хватало»), жажда «новой, ясной жизни, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным!» И непоколебимая вера в то, что «такая жизнь рано или поздно настанет» (Чехов 1956, 506).

Напомним, что Ольга, равно как и её муж, была убеждена, что до «зари нового счастья» рукой подать... Курьез состоит в том, что критики начала прошлого века приветствовали чеховскую героиню с тем же восторгом, что и Добролюбов гончаровскую Ольгу, видели в ней носительницу «новых веяний»: если Ольга должна была «сжечь и развеять обломовщину» (Н.А. Добролюбов), то Надя утвердить «новые устои для “бабушкина дома”» (А.И. Богданович). Сорока с лишним лет как будто бы и не было!

Полагаем уместным процитировать два весьма характерных отзыва на чеховский рассказ:

В этих горячих словах, – писал М. Волошин, имея в виду «пророчества» Саши о «великолепнейших домах», «чудесных садах» и фонтанах, которым надлежало вырасти на руинах ненавистного ему города, – вы узнаете чеховские мотивы: его непримиримую вражду к буржуазным гнездам, где всё и все так похожи друг на друга, от гибели которых никто не плакал бы и о которых никто не жалел бы... И этот кипучий, полный пророческого энтузиазма призыв к будущему – прекрасному будущему, столь прекрасному, что оно кажется несбыточным и столь несбыточным, что оно кажется прекрасным (Волошин 1904, 2).

Вслушиваясь в этот радостный призыв к жизни, – пишет критик газеты «Русь», постоянным автором которой являлся и Волошин, – исходящий от писателя, видевшего до сих пор в этой жизни лишь беспросветную мглу, невольно хочется верить, что наступивший новый год будет действительно новым, даст не только новую арифметическую цифру, но также наполнит нашу жизнь новым содержанием, и быть может, новым счастьем (Боцяновский 1905, 3).

Как известно, Максимилиан Волошин дожил до «несбыточно-прекрасного» будущего и встретил его без всякого «энтузиазма!» «Счастья», как надеялся Боцяновский, 1904 год не принесет, но в той же газете, где публиковалась его рецензия, на первой полосе, сообщалось об усугублении кризиса в российско-японских отношениях и об обмене нотами между послом России и министром иностранных дел Японии... Наступивший год, а за ним 1905 и несколько последующих «наполнятся» «содержанием», которое определилось именно этими событиями.

Жажда новой жизни, некоего гармоничного инобытия, восполненного до состояния неясного самим «мечтательницам» совершенства, была в «новых» русских женщинах, литературных и вполне реальных, настолько сильна, что уже не оставляла в их душах и сознании места для сомнений: где гарантии того, что чаемая жизнь наступит? Сила упований, ради которых они разрушали семьи и поднимались на эшафот, и выступала в качестве основной, если не единственной гарантии осуществимости самих упований. Гончаров определил это состояние как *обольщение* «призраком отдаленного, никому не видимого будущего» (Гончаров 1981, 43). «Обольщение» – понятие, вошедшее в светский обиход из аскетических наставлений, и, действительно, идеалистическое томление обретало характер религиозной веры, которая, по апостолу Павлу, и «есть осуществление ожидаемого и *уверенность в невидимом*» (Евр. 11, 1). Не случайно, наставлявший Надю Саша говорил о «царствии Божием на земле» и надеялся на силу волшебства, когда уверял собеседницу в неизбежности преобразования мира: «всё изменится, точно по волшебству».

Рассуждая о том, почему Ольгу Ильинскую, девушку скромную, аристократически сдержанную и целомудренную, абсолютно аполитичную,

нисколько не напоминающую героев Чернышевского и не имеющую никакого отношения к их «новой» морали, принято относить к «новым» женщинам в литературе, Юрий Лощиц объяснял эту давнюю, еще с дореволюционных времен определившуюся традицию характером того чувства, которое пережила Ольга. Она полюбила Обломова для того, чтобы перевоспитать его, полюбила, так сказать, «из идейных соображений», и это было неслыханным новшеством в тогдашней литературе (Лощиц 1986, 191-192). Однако если в контексте решения данной проблемы и уместно вспоминать о «нетрадиционной» любви, то лишь как о проявлении более общей психологической установки – идеалистического томления, которое, впервые проявившись в Ольге, породнит её с прочими «новыми» женщинами, сколько ни появится их в последующие десятилетия.

Можно было придерживаться вполне традиционной линии поведения, и вовремя остановить эксперимент с любовью «из идейных соображений». Можно было пойти дальше, подойти к «обрыву», упасть вниз и оказаться в когтях «героя волчьей ямы» (Гончаров 1980, 355), как это произошло с Верой. Можно было, как это случилось с Верой Павловной Розальской, смело экспериментировать и с любовью, и с семейным строительством, и в области экономических отношений. Можно было проникнуться революционными настроениями и вопреки субъективной установке автора – как это случилось с Надей у Чехова. Революционность *Невесты* проявляется и в весьма красноречивой убежденности Саши, что «главное – перевернуть жизнь, а всё остальное не нужно» (Чехов 1956, 501). И в том, что Надя жизнь действительно «переворачивает», пускай пока только свою, и убегает из-под венца. Однако куда более серьезное проявление духа эпохи отслеживается на уровне психологическом, угадывается в едва заметных, проступивших лишь к финалу рассказа, изменениях характера героини. Свидетельства этих изменений обычно усматриваются в том, что, вернувшись домой после многомесячного пребывания в Петербурге, Надя с трудом узнает родной город: дома ей кажутся «маленькими и приплюснутыми», потолки низкими, а всё вместе состарившимся и отжившим...

Менее заметна неожиданная, подлинно «революционная» суровость, которую демонстрирует девушка и которая никак не свойственна русской литературной героине. Внутренне Надя полностью отстраняется от бабушки, матери и не только от них... Получив от Саши письмо, содержащее диагноз, равносильный смертному приговору её наставнику, которого за месяц до этого называла «самым близким, самым родным человеком», она ощутила, что «это предчувствие и мысли о Саше не волновали её так, как раньше» (Чехов 1956, 506). Услышав на следующее утро плач, увидев молившуюся в слезах бабушку и лежащую на столе телеграмму, она не проявила даже естественного желания выяснить, в чем

дело, «долго ходила по комнате, слушая как плачет бабушка, потом взяла телеграмму, прочла» – известие о том, что умер Саша.

Странно, что мысли о смерти в сознании Нади сочетаются прежде всего с настроениями исторического оптимизма: «Прощай, милый Саша! – думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила её» (Чехов 1956, 507). На другой день, утром, Надя, «живая, веселая, покинула город, – как полагала, *навсегда*»... Смерть самых близких людей уже не вызывает в душе героини никаких сильных движений, а к живущим и любящим её людям она относится как к давно умершим, *навсегда* оставляя мать и «бабулю», будто они лежат в могиле – такого в русской литературе ещё не бывало!

Е.Д. Толстая отмечает, что образ Лизы Калитиной выполнен «с опорой на тщательно скрытые мифопоэтические мотивы, «работающие» на уровне подсознания» (Толстая, 145). С ещё большей очевидностью мифопоэтическое начало присутствует и в чеховском рассказе: вряд ли случайно незадачливый жених здесь является «поповичем», «сыном соборного протоиерея» – это уровень бытовой сказки, а кроме того, образы «невесты», равно как и «жениха» имеют устойчивую евангельскую коннотацию. В.И. Тюпа пишет о другом «женихе» того же типологического ряда, однако его наблюдения очевидным образом соотносятся с чеховской проблематикой.

Очевидно значимым является возраст героя в начале романа: «Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду». Иначе говоря, Обломова мы застаём на пороге возраста Христа – лиминального (пограничного) возраста символической смерти и преображения (воскресения в новом статусе). Эта лиминальная символика, через посредство волшебной сказки уходящая корнями в ритуально-мифологический комплекс инициации и обнаруживаемая в основе множества сюжетов мировой литературы, весьма часто манифестируется свадебным комплексом мотивов (Тюпа 2004, 71).

Вряд ли будет натяжкой усмотреть в «революционной» суровости и решимости Нади проявление мифопоэтической лиминальности.

Можно и дальше перечислять обстоятельства и свойства натуры, отличающие «новых женщин» друг от друга, но ни одно из этих обстоятельств не поколеблет основы их типологического родства, того, что превращает их в «мечтательниц и фантазерок» (так аттестовала себя сама Ольга Ильинская) (Гончаров 1998, 371) – того идеалистического томления, которое укрепляет их в «уверенности в невидимом» и составляет, говоря словами Гончарова, «господствующий элемент» их характеров (Гончаров 1986, 368).

Надину бабушку звали Марфой Михайловной, а вполне бы могли и Ольгой Сергеевной, по крайней мере, время этому не препятствовало, ибо доживи Ольга Ильинская до начала XX века, ей в 1902-1903 годах,

когда писалась *Невеста*, было бы не больше семидесяти. Критики, писавшие о *Невесте*, и не заметили, что во «внучке» в общих чертах будет воспроизведен психологический тип «бабушки». Им, слышавшим в чеховском рассказе лишь «бодрые, сильные аккорды», не дано было предугадать, что самое существенное отличие «внучек» первых русских «фантазерок» от «бабушек» будет состоять прежде всего в том, что на них, «внучках», история женского идеалистического томления прервется, ибо 1917 год обозначит совсем иные проблемы.

История эта без остатка укладывается в пределы жизни всё той же Екатерины Майковой. Сама идеалистка «первого призыва», прообраз первой литературной идеалистки и её ровесница (Екатерине Павловне к моменту завершения романа в 1857 г. был 21 год, а Ольге ко времени её знакомства с Обломовым – 20), Майкова прожила 84 года и умерла в 1920 г., получив возможность отследить все этапы в развитии русского женского идеализма, осмыслить свое непосредственное участие в нем и стать свидетельницей кровавого его увенчания.

В *Обрыве* можно отыскать однозначные свидетельства того, что уже в конце 60-х годов XIX столетия Гончаров вполне осознавал пагубность безоглядных «мечтательности» и «фантазерства», – то, чего не видели современники Чехова и через тридцать с лишним лет. Потому и характер главной «мечтательницы» романа Веры был существенно отличен от типологически близкой ей Ольги. Вера, как и её предшественница, остается «фантазеркой»: «Она смотрела вокруг себя и видела – не то, что есть, а то, что должно быть, что ей хотелось, чтоб было...» (Гончаров 1980, 308). С другой стороны, «иногда, в этом безусловном рвении к какой-то новой правде, виделось ей только неумение справиться с старой правдой» (Гончаров 1980, 309), что, безусловно, отличало её от прочих «идеалисток». В «старой жизни» она находила немало «прочного, живого и верного», но не закрывала глаза на «вредные уродливости», «отживший сор» этой жизни, более того, она готова была «идти на борьбу против старых врагов, стирать ложь, мести сор»... Для этого ей, подобно тургеневской Елене Стаховой, нужен был «пылкий товарищ, друг, пожалуй муж», но также ей было необходимо «глубоко и невозвратно убедиться, что истина – впереди» (Гончаров 1980, 309).

Последнее сомнение, совершенно неожиданное для «фантазерки», в глазах любого прогрессиста выглядело бы абсолютно непростительным, равнозначным вероотступничеству. Вряд ли простились бы девушке и её религиозность, пускай и весьма специфическая, не лишенная признаков прогрессивности. Все отмеченные обстоятельства вовсе не означают, что Вере не место среди русских литературных «идеалисток» – вовсе нет! Но о том, что Гончаров, создавая образ идеальной героини, пытался скорректировать свои прежние представления об «идеальности», – эти обстоятельства свидетельствуют

неоспоримо. Главным же свидетельством того, что эти представления были небезупречны и требовали корректировки, могла стать история Екатерины Майковой – «оригинала» Ольги.

В *Обрыве* есть еще более впечатляющие свидетельства гончаровского понимания пагубности социально-исторического утопизма, проявлением которого и являются «фантазерство» и «мечтательность». Здесь, как и через несколько десятилетий у Чехова, одной из сюжетных доминант станет ситуация «бабушка – внучка», смысл которой и в романе, и в рассказе приблизительно одинаков – взаимная ответственность поколений перед настоящим и будущим. Татьяна Марковна, когда узнает о падении Веры, прозреет в этом событии нечто гораздо большее, чем частную драму соблазненной девушки. «Трагическая старуха» бродила в окрестностях Малиновки, а

ей наяву снилось, как царство её рушилось и как на месте его легла мерзость запустения в близком будущем. <...> Озираясь на деревню, она видела – не цветущий, благоустроенный порядок домов, а лишенный надзора и попечения ряд полусгнивших изб – притон пьяниц, нищих, бродяг и воров. Поля лежат пусты, поросшие польною, лопухом и крапивой. <...> Новый дом покривился и врос в землю; людские развалились; на развалинах ползает и жалобно мяучит одичалая кошка, да беглый колодник прячется под осевшей кровлей. Старуха вздрогнула и оглянулась на старый дом. <...> Стекол нет в окнах, сгнили рамы, и в обвалившихся покоех ходит ветер, срывая последние следы жизни. В камине свил гнездо филин, не слышно живых шагов, только тень её... кого уж нет, кто умрет тогда, её Веры – скользит по тусклым, треснувшим паркетам, мешая свой стон с воем ветра, и вслед за ним мчится по саду с обрыва в беседку (Гончаров 1980, 324).

Сон наяву Татьяны Марковны потрясает своей провидческой силой: ведь она вместе с Гончаровым не только предельно точно нарисовала картину будущего, но и предугадала, время его наступления. Действительно, «мерзость запустения» наступит именно тогда, когда Вере, её внучке придет пора умирать. Вере, которая по возрасту тоже вполне могла бы претендовать на роль бабушки Нади Шуминой. И Наде, и её наставнику Саше тоже грезилось тотальное разрушение, но оно их вовсе не пугало – они его ждали и шли ему навстречу, ибо были убеждены, что после этого всё преобразится и «настанет царствие Божие на земле»:

От вашего города, – пророчествовал Саша, – тогда мало-помалу не останется камня на камне, – всё полетит вверх дном, всё изменится... И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди... (Чехов 1956, 494).

Пророчества молодых людей сбудутся. Но лишь наполовину: всё совсем скоро, действительно, «полетит вверх дном», не оставив «камня на камне» от прежнего уклада, но «царство Божие» так на земле и не

наступит. Не станут обычным явлением и «замечательные люди», куда больше будет «нищих», «пьяниц» и «колодников», которые мерещились бабушке Татьяне Марковне. Не удастся забыть и о доме бабушки Марфы Михайловны: не более чем через два десятилетия о нем будут с ностальгической тоской вспоминать и те, кто останется и уцелеет в России, и те, кого забросит далеко за её пределы. До этого доживет внучка внучки Татьяны Марковны, которая в молодые свои годы будет неколебимо верить в скорое наступление новой жизни, демонстрируя при этом революционную непреклонность, а современные ей критики будут всячески возгревать в ней и в её сверстниках эту веру. Как будто бы не было прозрений тридцатилетней давности, донесенных до читателя вполне либеральным и прогрессивно настроенным Иваном Александровичем Гончаровым, как будто забыли литературные критики о горьком опыте его героинь!

ЛИТЕРАТУРА

- Боцяновский Вл.: *Новый рассказ Чехова*, «Русь» 1904, 3 (16 января), № 22, с. 3.
- Волошин Максимилиан: *Литературные характеристики (По поводу последнего рассказа А.П. Чехова «Невеста», «Журнал для всех», декабрь)*, «Киевские отклики» 1904, № 47 (8), 8 января, с. 2.
- Гончаров Иван: *Обрыв*, [в:] Гончаров Иван: *Собрание сочинений: В 8 томах*, т. 6. Москва 1980.
- Гончаров Иван: *Очерки. Литературная критика. Письма. Воспоминания современников*. Москва 1986.
- Добролюбов Николай: *Что такое обломовщина?* („Обломов“, роман И.А. Гончарова. „Отч. Записки“, 1859 г., № I -IV), [в:] Добролюбов Николай: *Собрание сочинений: В 3 томах*, том 2. Москва 1950, с. 107-141.
- И. А. Гончаров-критик. Москва 1981.
- Лоциц Юрий: *Гончаров*. Москва 1986.
- Толстая Елена: *«Тургеневские девушки»: постромантический портрет и мифопоэтика*. [Электронный ресурс]: http://sites.utoronto.ca/tsq/47/tsq47_tolstaja.pdf [дата доступа: 05.03.2018].
- Тюпа Валерий: *Увертюра к роману (поэтика начальных страниц «Обломова», [в:] Русская литература XIX-XX вв.: Поэтика мотива и аспекты литературного анализа*. Новосибирск 2004, с. 212-219.
- Штакеншнайдер Елена: *Дневники и записки. (1854-1886)*. Москва – Ленинград 1934.
- Чехов Антон: *Собрание сочинений: В 12 томах*, т. 8. Москва 1956.